

Год Марины

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов...

По новому стилю этот день
приходится на 8 октября.
8 октября нынешнего года со
дня рождения Марины Цветаевой
исполнится 100 лет.

Белла АХМАДУЛИНА

Божьей милостью

ВСЕЙ ДЕНЬ — потому что: первый день Цветаевского года, с которым мы друг друга поздравляем, но почему и во всякий день Марина Цветаева, ее имя, все, что названо этим именем, вынуждают нас к особенному стеснению сердца, к особенной спертости воздуха в горле? Мы, человечество, сымальства закинувшее голову под звездопад, к шедеврам; мы, русские, уже почти двести лет как с Пушкиным; мы, трагические баловни двадцатого века, понукаемые его опытом к Искусству; мы, имеющие столько прекрасных поэтов, почему особенно милой сердца устремляемся мы в сторону Цветаевой? Что в ней, при нашем богатстве, — из ряда вон, из ряда равных ей?

Может быть — особенные обстоятельства ее жизни и смерти, чрезмерные даже для поэта, даже для русского поэта? Может быть, и это, но для детской, простоватой стороны нашей сущности, для той пылко-детско-житейской стороны, с которой мы не прощаем современникам Пушкина, что именно он был ранен железом в живот, в жизнь, в низ живота — так Цветаева пишет о детском ощущении Пушкина, которое еще не мысль, но уже боль. Да, особенные обстоятельства жизни и смерти, осведомленность в страданиях, которую приходится считать исчерпывающей. Но страдание и гибель — лишь часть судьбы Цветаевой, совершенной дважды: безукоризненное исполнение жизненной трагедии и безукоризненное воплощение каждого мига этой трагедии, ставшее драгоценной добычей нашего знания и существования.

В этой прибыли нет изъянов, она загадочно абсолютна, и в этом смысле судьба Цветаевой — одна из счастливейших в русской словесности. Сам по себе образ рока более яд, чем образ Цветаевой, она была вождем своей судьбы, воинство ее ума и духа следовало за этим вождем, охраняя не поэта, а его дар — свывше — нам, все то, что, упустив его жизнь, мы от него получили.

Поэт особенным образом любит жизнь и имеет для того особенные причины. Поэт сказал: сестра моя жизнь. На что Цветаева не замедлила восхитительно отозваться: «Сестра моя Жизнь, так люди — жизни не зовут». Кто же те, единственно имеющие право называть негужной, а жизнь сестрою? И что делает эта сестра специально для них?

Жизнь благосклонна к поэтам совсем в другом смысле, чем к людям — не по-

там, словно она знает краткость, возможную краткость отпущенных им дней, возможное сиротство их детей, все терзания, которые могут выпасть им на долю. И за это она так сверкает, сияет, пахнет, одаряет, принимает перед ними позу такой красоты, которую никто другой не может увидеть. И вот эту-то жизнь, столь поэту заметную и столь им любимую, по какому-то тайному уговору с чем-то высшим, по какому-то честному слову полагается быть готовым в какой-то, словно уже знакомый, момент отдать — получается, что отдать все-таки за других. Вызвут или нет — не поэт к этому нечаянно готов. За то, что мы называем Божьей милостью, — страшно подумать, какая за это немилость всех других обстоятельств. Трудное совпадение того и другого поэт принимает за единственную выгоду и благодать. Спросим Цветаеву, что он за все это имеет? Она скажет, при этом скажет задолго до крайней крайности, до смертного часа: «...ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с «политиками», а я и с писателями — не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато — а за то — всё». Прибавим к перечисленному то, что мы знаем о конце ее дней, и мы поймем, какой ценой дается ВСЕ. Но, если про прочих нас скажут: все то, что им дано, про Цветаеву скажут: то ВСЕ, что дано Цветаевой. И: все то, что отдала она, и то ВСЕ, что отдала Цветаева.

Всегольз упомянем, что она и житейски — даритель, раздаватель, заступник (за Маяковского, за Мандельштама, за Германио: профиль Гёте над тысячелетиями).

Нынешний год, впрочем, и всякий год, — но нынешний год — условностью округлой юбилейной даты — дает нам счастливую возможность отвлечься от нашего горя, от взятого в свой живот ощущения трагедии жизни, вернее, житей-бытия Цветаевой — только праздновать, что — родилась раз навсегда.

Торжественно вспомним, что Иван Владимирович Цветаев отдал жизнь на принадлежащий нам Музей. Народу отдала Цветаевские библиотеки. Но главное, не менее Музей, — все то, что мы ненасытно брали и берем, что будем всегда брать у Цветаевой, от Цветаевой на тех необременительных для нас условиях, что она отдала нам ВСЕ.



Отклик вл. Ходасевича на последнюю прижизненную книгу Марины Цветаевой, включавшую стихотворения, написанные в эмиграции. Напечатан в Парижской газете «Возрождение» 19 июня 1928 г.

ЛЕТ СЕМНАДЦАТЬ прошло с тех пор, как Марина Цветаева напечатала первый сборник своих стихов. В течение семнадцати лет основные свойства ее поэзии сохранялись неизменными, но главным из них была, кажется, переменчивость. Из современных поэтов Марина Цветаева — самая «неуспокоенная», вечно меняющаяся, непрестанно ищущая новизны: черта прекрасная, свидетельствующая о неизменной живучести, о напряженности творчества.

Однако есть нечто смущающее в самих формах, которыми облечен этот постоянный процесс самообновления. Не то беда, что в своих исканиях Цветаева часто поддается влиянию других поэтов. Меня как-то не задает то, что в разные времена в ее стихах можно с той или иной отчетливостью слышать голоса Ахматовой, Мандельштама, Блока, Белого, Пастернака и еще других: подо всеми этими влияниями на известной глубине всегда слышался собственный голос Цветаевой, и я не согласен с Брюсовым, который однажды назвал ее вечной подражательницей. Чужих воздействий не избежал никто, все у кого-то учились. Словом, не наличие влияний сама по себе смущает в Цветаевой, но то, что, переходя от манеры к манере, от одного комплекса приемов к другому, — Цветаева каждый раз словно принуждена всю свою поэзию начинать сызнова, для своего настоящего она почти не извлекает и не хочет извлекать опыта из своего прошлого: в ее поэзии мы наблюдаем не органическое развитие форм, но скорее их механическую смену: одно стремится вытеснить другое без остатка, и, пожалуй, поэзия, если бы ее не объединяли некоторые черты, протектающие скорее из единства человеческой, женской, нежели художнической личности автора.

Опять же — об этой личности. Художник тем отличается от философа, что его дело — проникновенное видение и переживание мира, но не прямое суждение о нем. То, что поэт увидел и как увидел, может быть предметом критического и философского осмысления. «Философия» поэта не излагается в его творчестве, но оттуда извлекается. (Поэтому

Марина Цветаева. «После России». Стихи 1922—1925. Париж. 1928.

Цветаевой

для философа есть смысл искать у поэтов «свидетельств» и наблюдений, поэт же, перелагающий стихами философа, поэтически безнадежен: он насилует природу поэзии. Полагаю, что кое-что любопытное можно извлечь из поэзии Цветаевой, потому что она — созерцатель жадный, часто зоркий и всегда страстный. Она сама меньше всего философствует, больше всего записывает. Ее поэзия насильственно эмоциональна, глубоко лирична даже в ее эпических опытах. (Мне уже доводилось указывать, например, что ее сказка «Молодец» есть ряд песен, лирических моментов, последовательностью которых определяется ход событий.) Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилиен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока. Цветаева словно так дорожит каждым впечатлением, каждым душевным движением, что главной ее заботой становится — закрепить наибольшее число их в наиболее строгой последовательности, не расценивая,

циональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее же словами, — «Присягаю: люблю богатых!» Сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады — люблю Цветаеву.

И мне даже нравится смотреть, как Цветаева расточает свое богатство. Но все-таки, как художник, она неправа, когда не успевает углубить мысль, когда сочетает образы, плохо сочетаемые, когда воображения и чувства не поверяет рассудком, когда слишком любит бросать материал не обработанным до конца. Еще более она неправа, слишком часто заставляя читателя расшифровывать смысл, вылицивать его из скорлупы невнятиц, происходящих не от сложности мысли, но от обилия слов, набросанных слишком спешно, бурно, без выбора; и когда, не храня богатств фонетических, она непомерно перегружает стих, так что нелегко уже выделить прекрасное из просто оглушающего... Есть нечто трагическое, когда Цветаева спрашивает:

Что же мне делать,
певцу и грезвцу,
В мире, где наизгнанный — сер!
Где вдохновенье хранят,
как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

ИЗ НАСЛЕДИЯ

Владислав
ХОДАСЕВИЧ

После России

не отделяя важного от второстепенного, ища не художественной, но скорее психологической достоверности. Ее поэзия стремится стать дневником, как психологически родственная ей поэзия Растопчиной. В своей последней книге «После России», содержащей стихи 1922—1925 гг., она это делает с особой, кажется, тщательностью, стремясь закрепить не только тематическую, но и хронологическую последовательность пьес.

Поэтика прошлого века не допускала одержимости словом; напротив, требовала власти над ним. Поэтика современная, доходящая порой до признания крайнего словесного автономизма и, во всяком случае, значительно ослабившая узлы, сдерживающие «словесную стихию», дает Цветаевой возможности, не существовавшие для Растопчиной. Причинения, бормотание, лепетание, ползуаумная, полубредовая запись лирического мгновения, закрепленная на бумаге, приобретает сомнительные, но явочным порядком осуществляемые права. Принимая их из рук Пастернака (получившего их от футуристов), Цветаева в нынешней стадии своего творчества ими пользуется — и делает это целесообразнее своего учителя, потому что применяет именно для дневника, для закрепления самых текущих душевных движений. И не только целесообразней, умней, но главное — талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, принужденной его, — вдохновенней. Наконец, и по смыслу — ее бормотания глубже, значительней. Читая Цветаеву, слишком часто досаждаешь: зачем это сказано так темно, зачем то — не развито, другое — не оформлено до конца. Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что это все так темно: если словесный туман Пастернака рассеять — станет видно, что за туманом ничего или ничего нет. За темнотою Цветаевой — есть. Есть богатство эмо-

Всякое искусство все-таки именно мир мер, соотношений, равновесий.

Спору нет, стихи надо уметь читать, и чтение — труд, отчасти похожий на труд художника. Но Цветаева возлагает на читателя не непосильный, а принципиально невозлагаемый труд — расшифровывать словесную темноту, фильтровать звук, восстанавливать и угадывать ненайденную автором гармонию между замыслом и осуществлением. Нельзя сказать, чтобы читатель Цветаевой не бывал вознагражден за свой труд. Напротив: хорошо поработав, почти всегда откроешь в стихах Цветаевой прекрасное, но все же требования Цветаевой художественно неправомерны. Сам Рафаэль был бы неправ, если бы писал по принципу «загадочных картинок»: дан, например, пейзаж — требуется найти спрятанный в нем портрет. Пусть даже этот портрет окажется отличным, — все же художество должно оставаться художеством, а ребус — ребусом. Художник не презирает «мелкого», но именно в нем живет.

В этой книге лучше всего то, что Цветаева в ней еще не вполне порывает с мерой. Часто находит она еще в себе мастера, который, как бы отрываясь от дневника (всего лишь человеческого документа), находит в себе силу и волю создавать вещи законченные и цельные, подчиненные замыслу художника. И тогда мы имеем такие стихотворения, как «Сивилла — младенцу», «Педаль», «Попытка ревности», «Так влущиваются», «Ночь», «Занавес», «Наклон», «Расстояние»:

Расстояние: версты, мили...
Нас расставили, расадили,
Чтобы тихо себя вели,
По двум разным концам земли.

Расстояние: сестры, дали...
Нас раск. е. ли, распаяли,
В две руки развели, распая,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилый...
Не рассорили — рассорили,
Расположи...
Стена, да ров.
Расселили нас, как орлов —

Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трупам земных широт
Рассвали нас, как сирот.

Который уж — ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

Подготовка текста Л. ТУРЧИНСКОГО

АРХИВ «ЛГ»

Сергей НАРОВЧАТОВ

Много злата получив в дороге,
Я бесценный разменял металл...
Мало дал я дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал,

Потому что зло и окоянно
Я сумы боялся и тюрьмы...
Откровенья помня Иоанна,
Жил я по Евангелию Фомы...

Ты ли нагадала и напела,
Ведьма древней русской маеты,
Чтобы тот уездный Кампанелла
Метил во вселенские Христы...

И каких судеб во измененье
Присудил мне дьявол или Бог
Поиски четвертых измерений
В мире, умищающемся в трех!

Нет! Не ради славы и награды —
Для великой доли и красоты
Никогда взыскующие града
Не переведутся на Руси,

Взыскующие града

Любители поэзии знают наизусть это стихотворение Сергея Наровчатова. Но никто, кого бы я ни спрашивал, не видел его в печати.

Между тем перед нами, может быть, лучшее стихотворение поэта, очень искреннее, программное, афористическое. Написано оно, вероятно, в 50—60-е годы, в эпоху «оттепели», но за ним вся жизнь поэта, вся его судьба, да и, наверно, судьбы целого поэтического поколения.

Не стану подробно комментировать само стихотворение: на мой взгляд, оно отчетливо выражает глубоко продуманную, выстраданную мысль поэта. Скажу лишь об одной строке, точнее — об одном слове: «Чтобы тот уездный Кампанелла...» Этот вариант сообщил мне Александр Межиров: по его словам, именно так читал Сергей Наровчатов. В распространенных машинописных списках вместо слова «тот» было слово «любой», а вся строка выглядела так: «Чтоб любой уездный Кампанелла...» Понятно, что смысл строки в устном варианте заметно меняется, становится более конкретным.

Устные авторские варианты строк, стихотворений не столь уж и редки. Например, я хорошо помню, что Николай Асеев первую строку стихотворения «Надежда», когда оно еще не было напечатано, читал: «Убийство зовет убийство». И это, пожалуй, выразительнее, нежели печатная редакция: «Насилье родит насилье...» Но мое замечание носит лишь попутный характер. И суть, разумеется, не в одной строке, хотя и она может стать решающей для целостного восприятия стихов.

Публикуемое стихотворение Сергея Наровчатова запоминается само собою, без всяких усилий. А как часто мы знаем только имена поэтов, держим на полках их книги, но не можем воспроизвести ни строчки! Поэзия — то, что можно унести в памяти и что нельзя отнять.

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ